

Понюхали и ушли

«Ревизор» Гоголя. Постановка Юрия Еремина.
Художник — Март Китаев. Театр им. А. С. Пушкина

Марина Зайонц

Ю

рий Еремин — режиссер основательный, бесконечно далекий от задорно подпрыгивающего модернизма, и — известно давно — не чуждый авторству. В текст, лежащий перед ним (проза или пьеса — все равно), вгрызается плотно и перекатывает философически раздумчиво, стирая в порошок всякий намек на легкомыслие, иронию, двойной смысл. К жизни относится серьезно и уважительно; ее течение — спокойное, надежное — манит и до головокружения завораживает режиссера простотой и бесконечностью. Оттого романной форме отдается предпочтение перед драматургической. Взяв в руки пьесу, раздражающую четкостью начала и обязательностью конца, Еремин почти инстинктивно начинает ее трясти и выворачивать, как непослушный кубик Рубика. В попытке сменить ритм, размер и дыхание сценической жизни вставляет сторонние тексты (как, например, в «Эрика» или «У врат царства»), для той же цели переставляет сцены, дробит реплики, путает ходы (как в «Ревизоре»).

Вы, конечно, знаете, с какой вольно гуляющей фразы начинается «Ревизор»? Так нет же вам — начнем иначе. Подумаешь, едет ревизор. Не с него пошла жизнь уездного русского города, не им и закончится. Каждый божий день, из года в год, дамы мило обсуждают кавалеров и туалеты, чиновники слегка подворывают; по утрам — так заведено — все собираются за большим семейным столом чаю попить и новости узнать. Что в письмах пишут, кто с кем перемигнулся и чей сын у кого родился. Так славно, так по-семейному, так покойно, так нормально и — вечно.

Подступая к «Ревизору», Еремин вслед за многими уже старателями до него представил себе не одну только эту пьесу, зачитанную до дыр, но всего Гоголя, и из набора красок, немеленно всплывших перед пристрасно читающим взором, выбрал одну — проповедническую. Жанр его спектакля в афише не значит. Это не комедия, но и не трагедия; не балаган, но и не фантазматика; уже не пьеса, но еще и не роман. Так, не разберешь что. В подзаголовке, однако, вполне можно было написать: «И мои замечания о судьбе России». Вышло бы кстати.

Городок какой-то сельский, уютный, солнечный. Белье перковки, тщательной и наивной рукой нарисованные на розовом фоне, ласково маячат на заднике. А что про грязь на улицах потом скажут, так это пусть себе. И ничего что грязь, своя грязь, привычная. У плетня, раскинувшегося во всю ширь сцены, дамы — молодежавая, добродушная городничиха (Т. Лякина) и дочка Маша (И. Бякова), неловкая, книжная девочка-переросток, мечтательница — вяло, поутреннему еще перебарывающая репликами. Так, ни о чем. Вот оно — счастье, вот она — жизнь. Лениво подтягиваются остальные. Все как один в чистеньких, цветастеньких вышитых рубашечках, аккурратно перепоясанные, улыбочивые и умгытые. Круглолицые, пухленькие и розовенькие, как дети. Го-

родничий (А. Пороховщикова) в чем-то исподнем, сияет чистотой и благодушием, ничуть не испуган. Вот, знаете ли, новость — ревизор едет. Бог с ним, пусть едет; чай, не в первый раз. Улицу подмести, купцов попридержать, обедом накормить — всего и делов-то. И такие все славные, доверчивые. Ничего, что взятки берут, и письма чужие читают, секут кого или еще что — все развлечение, и безвредное ведь развлечение. Чем бы дитя ни тешилось, а свое все же дитя. Вот только сон нехороший городничему приснился. Помните: две необыкновенные крысы, которые пришли, понюхали и ушли. Сон оказался в руку.

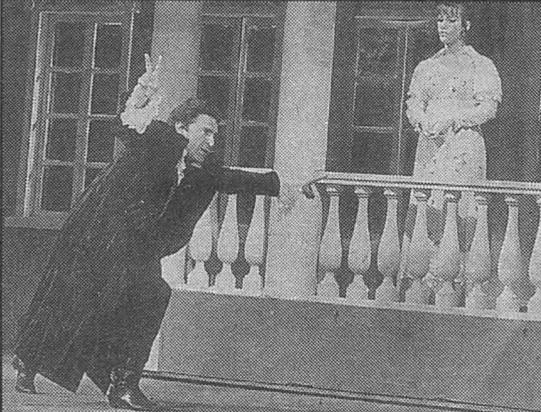
Две крысы, и впрямь необыкновенные, пришли и сломали патриархальный уклад давно заведенной, тихой, скромной, ни на что этакое не претендующей жизни. Тут уже программка должна была насторожить и предупредить о многом. В ней сначала перечислены ЛИЦА, а потом приписано: «а также: Хлестаков (В. Гвоздицкий), Осип (А. Дубовский)». Кто таков выходит Хлестаков? Догадаетесь, слово из шести букв, первая «д». Правильно: дьявол. Они (крысы или дьявол, единый в двух лицах) появились, и немедленно испортилась погода: пошел дождь (Хлестаков вылез прямо из преисподней с раскрытым зонтом в руках). Появились во всем заморском, оба

неповоротливое большое тело под эту фитюльку в старании принять ту же заковыристую пазу.

Еремин не любит недоговоренностей, не любит нечеткого, смазанного изображения; у него всякий символ сам растолковывает свое назначение. Гамак в «Ревизоре» играет важную, говоря по-умному, почти что и метафизическую роль. Зловещая черная сетка, в которой черной же каракущей распластался лицом в зал летящий Хлестаков. Летит и выплевывает на лету; и Пушкина на дружеской ноге, и «Юрия Милославского», и все 35 тысяч одних курьеров. Виктор Гвоздицкий изображает черта столь самоотверженно, что цель, пусть короткая и прямая, достигнута: делается жутко. Актеру выпало играть не человека, не лицо, но некую абстракцию, абсолютное зло и ничего больше. Задача, в сущности, невыполнимая, или выполняемая слишком легко. Природные данные Гвоздицкого, располагающие к желаемой inferнальности, используются не впервые. Как не впервые используется его дар мгновенных, спонтанных переключений: внезапный истерически-холодный визг, отлетающий от мгновенно каменеющего лица; мутная любовная лихорадка, охватившая вдруг сотрапасающегося в припадке тело (сватовство — самая сильная сцена в спектакле и самая удачная у Гвоздицкого), и без остановки, без паузы оборвавшаяся равнодушным: «Едем». Актеров на сей раз придется обоить стороной. «Ревизора» сыграли пока один раз, а следующий спектакль отменили. Из-за зрителей, шумной толпой испуганных идиотов заполнивших зал. Билеты продали школьникам, которые, не дрогнув, на самом деле сорвали премьеру. Актеры играли героически, и ничего другого сказать о них не пороворачивает язык.

Вот и перейдем к финалу, давно дожидавшемуся особого внимания. Именно тут оказались спрятанными вся соль и вся боль. Ждете «немой сцены»? Ее не будет. Городничий — один на пустой сцене — произносил свой последний монолог, обращаясь в зал, тпась даже и заплакать. По всему выходило — жалеть надо. Сообщение о приезде ревизора выслушал, однако, мужественно: утер так и не скатившуюся слезу; потребовал шпату; одернул мундир и, четко печатая шаг, пошел навстречу продолжающейся жизни.

Монолог городничего адресовался зрителям, и знаменитая гоголевская фраза «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!» была брошена им же. Была брошена и пропала в черной тишине, ибо никто не смеялся. Неловко смеяться в такой опасной близости от кафедры, с которой Еремин как-то уж слишком серьезно решил учить публику. Не столько даже учить, а почти что и манифестировать — особый, умильно-патриархальный путь, который кто только не полагал магистральным. Ни капли юмора, ни полкапли рефлексии. Не анекдот рассказывали, о глобальных вещах речь шла. Задача была такой неподъемной, что пришлось пользоваться готовыми, чужими блоками для строительства очередной храма истины. Так стоило ли из-за обшего места стулья ломать, на щипочки становиться и хорошей пьесе суставы выворачивать?



АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

в черном. Один (Осип) с каким-то подозрительно красивым и гладким лицом, другой (Хлестаков) с носом. Не в том смысле, что нос гулял отдельно, а просто — с носом. Дьяволы и есть. Текст, противоречивый столь пугающе-инфернальной трактовке, убран. Осип, отбросив известный монолог, властно берет на себя общее руководство и некоторые реплики Хлестакова. Появившись в доме городничего, он первым делом ломает плетень, у которого так любили по утрам собираться все домочальцы. Дальше больше: Хлестаков входит в раж, отрывает от дома веранду с колоннами и гоняет на ней по сцене, будто на самокате. А розовый задник с церквями мрачно перерезает черное полотнище, образуя что-то вроде креста.

Мирная лубочная жизнь сдвинулась со своего неповторимого пути и пошла враскосяк, смущая наивных простаков опасными мечтаниями и законнопослушной вольностью. Первыми с черной силой столкнулись Добчинский и Бобчинский. Ну и вот вам результат: текст Бобчинского за чем-то передала Добчинскому, а несчастный, всего лишенный Петр Иванович почему-то именуется Бобчинским (ударение на первом «и»). Крепыш Городничий не столько испуган, сколько сломленную попытку понять, какую такую диковину занесло в его дом. Почти что и с ума сходит, заползая под заснувшего в гамаке черта, протискивая свое неуклюжее,